

Предисловие и публикация Вадима Перельмутера

Сергей Михайлович Соловьев (1885-1942), можно сказать, никогда не был "запретной" фигурой в советской истории русской литературы. Внук историка и племянник философа, идеолога российского символизма, поэт и переводчик, прозаик и христианский публицист, он занимал в литературе начала XX века не центральное, но заметное место. О нем писали -- глухо и непоследовательно, как, впрочем, и о других репрессированных в первые пореволюционные годы, но уцелевших и "затерявшихся" на периферии литературной жизни. Одной из первых громких репрессивных акций советской власти было так называемое "Петроградское дело" (1918) -- расстрел архиепископа Вениамина и группы священников и последовавшая за этим массовая высылка духовенства из обеих столиц и большинства крупных городов. С.М. Соловьев эта волна забросила в глушь Саратовской губернии. Отбыв ссылку, он в начале 1920-х годов вернулся в Москву. Скромно зарабатывал на жизнь переводами. В середине десятилетия был рукоположен в епископы греко-римской католической церкви...

Принято считать, что после семнадцатого года Соловьев стихов не писал, занимался переводами, прежде всего -- с немецкого. Об этом сказано в Краткой литературной энциклопедии, об этом пишут А. Лавров и Н. Котрелев в первом из Блоковских томов "Литературного наследия", предвзято публикуя переписки Соловьева с Блоком (о религиозной публицистике и богословских работах не упомянуто ни там, ни там, но это понятно -- писано до восьмидесяти пятого года).

Я разговаривал о Соловьеве с хорошо знавшим его Сергеем Васильевичем Шервинским. От него узнал о том, что тот писал стихи и в двадцатых годах, в частности, сочинил поэму о пережитом в ссылке -- замечательный "Дневник изгнанника". От него получил пачку этих стихов -- с несколькими лаконичными примечаниями. Возможно, говорил Шервинский, когда-нибудь это удастся напечатать...

Два фрагмента тех разговоров особенно запомнились. Прямого отношения к стихам они не имеют, но, по-моему, добавляют черточки к облику автора. По крайней мере, мне не хочется, чтобы они сгинули, как многое, не перешедшее из памяти на бумагу.

Тюрьма и ссылка губительно повлияли на душевное здоровье Соловьева. Сознание его время от времени затуманивалось вспышками болезни. В такие моменты ему мнилось, что он... прозрачен и что всякий может увидеть всё -- и внутри него, и даже сквозь него. Можно предположить, что таким образом трансформировалась в психике поэта расхожая фраза следователя, что дескать, он своего подследственного "насквозь видит"...

И еще. Середина двадцатых годов. Коктебель. Тридцатиградусная июльская жара. Шервинский заглядывает в беленую комнату-келью, где одиночеству Соловьев в полотняной рубахе навывпуск и шортах. И зовет его -- вместе с молодежью -- к морю, купаться, а потом -- на "палубу" Волошинского дома, где -- в тени и невозможной прохладе -- будут читаться стихи. "Ну что вы, -- отвечает Сергей Михайлович, -- и так эти, -- указывая на свое одеяние, -- ризы... слишком облегчены"...

В конце восьмидесятых -- начале девяностых годов я предлагал "Дневник изгнанника", который считаю одним из самых значительных сочинений Соловьева, нескольким московским журналам. Как сказал когда-то и по другому поводу Шервинский, "не проявили совершенно никакого интереса"...

Вадим Перельмутер